

Б. Зайцев  
**ДАВНЕЕ**

О поле, поле, кто тебя  
Усеял мертвыми костями?

**ЛУНАЧАРСКИЙ**

Этого молодого блондина в пенсне, веселого, довольно благодушного, встретил я некогда в Петербурге, в доме знакомых — студента-естественника и жены его, акушерки. Сам я тоже студент. Место сумрачное, где-то у Пяти Углов. Маленькая квартирка, таинственные личности, «явки». Сам Ленин там бывал (но я его никогда не видел). Совсем нет солнечного луча в этом мире, где приятельница моего детства, друг хозяев, наливала с благоговением Ленину кофе и где сильно пахло обстановкой из «Бесов».

Но человек молод, ему все еще интересно, мир так неясно огромен, в нем все-таки есть место — и жаргону с «массовками», «студенчеством», «рабочими массами» и «Путейкой», и мечтам, и тоске.

Какие-то личности появляются, довольно таинственные, шепчутся с хозяином — исчезают. Я тут случайно, из другого мира. Думаю, здешние относились ко мне иронически («не наш»). Но вот этот блондин как-то приветливый, вносит оживление, смех, не чужд искусствам — вообще впечатление от него более легкое, даже с каким-то просветом.

Петербург ушел вместе с раннею юностью, одиночеством и заброшенностью. В Москве легче. И жизнь не та. Намечается будущий путь. Крылатым сиянием входит в него спутник — уже навсегда.

В этой ранней московской жизни, на первых литературных шагах кое-где Луначарский: воспоминание о Петербурге, но беглое. На страницах «Правды», где печатаешь первые свои рассказы и подрабатываешь корректурой, длиннейшие статьи Луначарского, странного соседа. Неразборчивейший почерк, над которым мучишься из-за корректуры, но все это только преддверие. Журнал-то марксистский, а литературой ведает в нем Бунин. Его скоро выставят. Меня тоже. Мы, конечно, неподходящие. Тут нужны Ленин, Скворцов, Луначарский, Богданов.

И вот вновь идет жизнь, о Луначарском не думаешь, вновь бываешь в Петербурге, но уже вдвоем, уже молодым писателем, совсем по-другому, и все тот же ветер молодости выносит в более просторный мир.

Весна в Париже, а там май, через Швейцарию, мимо Лаго-Маджиоре скатываемся в благословенную Италию, сияющую, светозарную Флоренцию, залитую элатистым, голубоватым, реющим и волшебным.

В городе этом, как из-под земли, и тоже вдвоем с молодой женою, — Луначарский. Это уже не подполье Пяти Углов. И Лениным тут не пахнет. Тут друзья наши, близкие и покровители — Боттичелли, Беато Анджелико, Донателло, Кастаньо и сонм иных. Все настоящее, мировое.

Надо сказать: Луначарскому это нравилось тоже. Он любил тоже Флоренцию, в нем была жизненность и порыв к искусству, он и сам кое-что писал по нашей части (но любительски и легковесно).

Во Флоренции мы превесело вчетвером с ним и дамами нашими заседали в разных рестораничках «Маренго», на via Nazionale, распивали кианти, он горячился, ораторствовал — теперь о флорентийской живописи. Пенсне его прыгало на носу, он вдруг обнимал и целовал Анну Александровну (очень был пламенен), а потом опять кричал о Боттичелли. Единственно, чем доезжал он меня тогда, — многословием. Глаза соловели у слушателя, а остановить его не было возможности.

И мы ходили вместе по Флоренции, и раз очень весело и смешно сидели на вечерней иллюминации над Арно — на парапете набережной, как-то верхом сидели, хохотали, дамы взвизгивали от фейерверков и забавлялись, как хотели.

А потом мы уехали в Виареджио, к морю, и они нам очень помогли: дали адрес в рыбацкой части тогда еще не очень скромного Виареджио — у каких-то синьоров Lirugini. Луначарские сами жили раньше у них и оставили, видимо, по себе хорошее воспоминание: раз мы друзья «dei signori Lunaciagi», так мы тоже будто свои. (Италия есть Италия.) Скромная комната рыбацкого домика (платили, кажется, лиру в день, 37 копеек). Madonna над кроватью с тюфяком, набитым морскими травами, светло-голубые крашенные стены. Стол и два стула. Да мы, собственно, мало и бывали в ней: купались, бродили, вдыхая солнце и прелесть Италии, ездили в Пизу. Провели тут недели три идилически-райски. Потом возвратились во Флоренцию. Луначарские были еще там, но вид иной: кислый и отошальный. Дело простое: уже неделю сидели почти без гроша. Анатолий Васильевич снял пенсне, протер, опять надел и дернул слегка за шнурок. Вид несколько смущенный.

— Не могли ли бы вы дать мне займы сто лир? Это бы меня очень выручило.

Сейчас кажутся те времена младенческими. Сто лир! Но комната в «Allegro Corona d'Italia» стоила три лиры, завтрак в «Маренго» — лиры полторы.

Я повел всех в это «Маренго», угощал, пропили мы лир десять, у Луначарского в кармане было сто, он опять хохотал, целовал Анну Александровну, к некоему удивлению гарнизонных офицеров, столовавших здесь же, несколько опереточных, в голубой форме и с длинными безобидными саблями.

В окно выскакивала на улицу собака здешняя, весело впрыгивая обратно. Маленький черноволосый Джоуанни, наш приятель, вихрем носился по ресторану с макаронами, бифштексами, фиасками кианти. Только слышалось его: «Pronti!» Все имело необыкновенно мирный вид.

На другой день мы уехали в Равенну, по пути уже домой. А Луначарские остались со своими ста лирами, ожидая подкреплений.

В Москве контора Юнкера выплатила мне эти сто лир довольно скоро.

\* \* \*

И вот идут годы, и чем дальше, тем все менее похоже на идиллию Флоренции и Виареджио. Луначарский в это время для меня за сценой. Вряд ли даже встречались мы в России между маем 1907-го и ноябрем 1917 г. Тут все фантастически изменилось. Просто другой мир. Осень 1917 г. мы проводили в деревне, тульском имении отца. А по России шли события, значения которых мы недооценивали.

Я попал в Москву после октябрьского восстания. Москва была разбита, не столько материально, сколько внутренне. Что-то сломилось. Во всем хаос. Так чувствовали мы, интеллигенция. Победители в обмотках и с наганями, наверно, по-другому.

Луначарский, с которым пили мы кианти во Флоренции, теперь министр, «народный комиссар», кажется, по народному образованию.

Вот тут произошло нечто, вовсе не похожее ни на ресторанчик «Маренго», ни на споры о Боттичелли. Мы вступали в страшную и кровавую полосу, даже и не представляли, сколь кровавую — в ней воспоминание, связанное с Луначарским, вызывает через много лет усмешку.

Во время восстания снарядами большевистской артиллерии были повреждены некоторые купола соборов в Кремле и, кажется, сбит крест. Сравнительно с тем, что творилось новою властью позже, это очень мало — сколько церковей потом все разрушили, начиная с храма Христа Спасителя, сколько епископов, священников замучили, сколько истребили крестьян и интеллигентов; рядом с этим шрапнельные ранения на куполах... Но *тогда* это привело меня почти в истерическое негодование. В Москве не вся еще пресса была казенная. Существовала, например, еженедельная газета «Власть Народа» (кооператоры-демократы). Думаю, именно в ней я поместил открытое письмо Луначарскому. Это было что-то невообразимое. Дорого обошлись ему московские купола. Что именно писал, не помню, но по-моему — чуть не площадная брань. Кажется, я упрекал его в сумасшествии, алкоголизме, и наверно помню, кончалось тем, что *никогда я больше не подам ему руки*.

Как могла газета напечатать такую штуку, неведомо. Но моя шрапнель била уже совсем мимо. Луначарский оказался совершенно ни при чем. Мало того — и в этом черта комическая: сам он был в ужасе от разрушений, крови и насилий, в частности и от повреждения древностей. До такой степени, что заявил Ленину о выходе из партии, за что получил такой нагоняй, что поспешил отступить. Ни мне, ни газете за письмо не попало. Луначарский же, я уверен, его и не читал.

\* \* \*

Положение Луначарского в революции оказалось довольно неудобным. Сам он был интеллигент и человек вовсе не кровавый, а попал в очень уж теплую ком-

панию. «Они» не весьма его жаловали. Он старался смягчать, заступаться, поддерживать артистов, писателей, налаживать академические пайки. По этой части кое-что сделал, но в террор и казни смягчения никакого не внес.

В 21–22 гг. мы жили в самой Москве. Это было время НЭПа, сравнительно легче. Луначарский устраивал иногда в Кремле у себя чтения и приемы, приглашал и писателей-некоммунистов. (Бывали у него Вяч. Иванов, Балтрушайтис, Гершензон.) Мне, после открытого письма, не так уж подходяще было бы встретиться с ним, да и желания никакого не было. Так что пьес его я в Кремле не слушал.

Но по делам Союза писателей приходилось нам, Правлению, ходить иногда «в Орду» — хоть и не были мы средневековыми русскими князьями. Выхлопывали разные льготы, пайки, охранные грамоты. Ходатайствовали за арестованных. Но тут больше приходилось иметь дело с Каменевым, тогда председателем Московского Совета. Все-таки, однажды, были и у Луначарского, в Кремле. Помню, ухитрился я как-то тогда, в группе сотоварищей своих, не поздороваться с ним. Помню, стараясь выказать свою независимость и презрение к существующему строю, я, как-то особенно нагло развалившись в кресле, раскачивал его, презрительно осматривал, заставлял скрипеть, чтобы наглядно показать, как ничтожно это высокое место — «кабинет кремлевского вельможи» (смешно, конечно, ребячество, но тогда делалось «от всего сердца»).

Не всегда мне так везло с Луначарским.

На Знаменке жил мой издатель и приятель давний, Зиновий Исаевич Гржебин. Был он близок к Горькому, но навастривал лыжи за границу, хотел — и устроил наконец собственное издательство в Берлине начала 20-х годов. А пока занимал отличную квартиру недалеко от Румянцевского музея.

Я у него бывал нередко, по литературным и личным делам.

Помню великолепный подъезд, двойные стеклянные двери, светло, тепло, только швейцара нет, а то будто довоенный быт.

Вот поднимаюсь однажды с улицы на несколько ступеней, берусь за ручку двери — она покорно отодвигает ко мне свое стекло, а выходящий из дома человек, в отличной шубе и меховой шапке, тянет к себе другую, внутреннюю дверь, тоже стеклянную. Через несколько секунд оба мы, нос с носом, в этой ловушке между дверями, шуба (наверно, отобранная у буржуя) знакомым жестом поправляет пенсне, взглядывает на меня и оказывается Луначарским.

— А-а, здравствуйте! — и приветливо, как ни в чем не бывало, протягивает руку. Будто мы в Италии, сейчас начнет разглагольствовать насчет Боттичелли (только сто лир теперь ему не нужны, а там шубы такой и бобровой шапки не было).

Да, и я протягиваю ему руку. После торжественного печального заушения — вот тут, между анафемскими этими дверями, и протягиваю... А потом скорей — шмыг в переднюю, в подъемник, и к Зиновию Исаевичу. Там свой мир, литература, издательство, давняя доброжелательность с обеих сторон. Рассказываю ему, он смеется.

— Анатолий Васильевич только что у меня был.

Я тоже улыбаюсь, но смущенно.

— Ведь в печати заявил, что никогда ему руки не подам.

— Мало ли что в печати. А тут вышло непечатное.

И мы стали говорить о другом — о готовящемся нашем отъезде, о книгах моих, которые он собирался издать в Берлине.

Так все и вышло. И в Берлин попали, и шесть томов моих выпустил он там — Гржебину, Зиновию Исаевичу, во многом я обязан тем, что попал на Запад. Его уже нет в живых. Он скончался здесь, в Париже, гораздо позже. Благодарную память о нем храню.

\* \* \*

Я никогда больше не видел Луначарского. Он продолжал быть «Наркомпромом». Думаю, все меньше и меньше подходил к эпохе, особенно когда умер Ленин и Сталин забрал все в свои руки.

Почти все люди того времени ушли. Умер и Луначарский. Теперь, издали, улыбнувшись на многое, но и вздохнув, скажешь: «Ну, какой бы там ни был Анатолий Васильевич, слава Богу, что умер не в подвале ЧЕКА».

## КАМЕНЕВ

Времена доисторические. Еще до японской войны. Москва, Университет. Был у меня знакомый один, думаю, социал-демократ, но умеренного толка. Старше меня и образованнее. Он мне нравился: простой, негромкий и приветливый, с русской интеллигентскою бородкой.

Вот он пригласил меня к себе на вечеринку. Русская студенческая вечеринка! Не времен Герцена или Толстого юного (без мундиров и жженки), нечто *после* Достоевского. Чай с лимоном и папиросы, сизый дым из комнаты и споры, споры...

Не помню, о чем спорили, наверно, о политике. Студент, довольно кудлатый, с широким, открытым лицом, с серыми приятными глазами, сняв тужурку и расположившись верхом на стуле, так что спинка служила ему опорой и кафедрой, что-то толково и неглупо говорил. Его слушали, видно было, что он здесь известен, что-то за ним есть.

Хозяин нагнул ко мне бородку, блеснул стеклами пенсне, шепнул:

— Выдающаяся личность. Умен и начитан. Лев Розенфельд. Я вас с ним познакомлю.

И действительно познакомил. И действительно Лев Розенфельд произвел неплохое впечатление. О талантах его политических я не мог судить, да мало это занимало. Но так, сам по себе, он мне скорее понравился.

Знакомство это не укрепилось и не удержалось. Все же в те годы мельком, то в университете, то, кажется, у знакомого моего, я Розенфельда встречал. Но никак не думал, что почти через четверть века встречу его в условиях, тогда показавшихся бы фантастическими.

\* \* \*

Эти условия были — революция, о которой я тогда, по молодости лет, а может быть и дурасти, вовсе не думал. Но она пришла, не спрашивая, нравится ли нам это или нет. Пришла, как зверь, но и как суд над многими делами прошлого.

Фантастичность и в том, что такой Луначарский, занимавший у меня сто лир, вдруг стал министром, что кудлатый студент Розенфельд, переименовавшись в Каменева, обратился в Председ. Моск. Совета. А еще в том фантастика, что и сам зверь — так всегда бывает в революциях — сам на себя обратился, пожрал своих же множество.

Как и Луначарский, Каменев был образованный, тоже склонный к литературе и искусствам человек. Жена его — *grande dame* революции, заведовала театрами, выставками картин, поэты писали ей стихи... Каменевский либерализм зашел так далеко, что, как московский «генерал-губернатор», он закрыл на третьем номере «Вестник ЧЕКА» за открытый призыв к пыткам на допросах. (Номерок этот хранился у покойного Осоргина.) Самый подходящий документ для человеколюбивейшей русской литературы! Толстой, слава Богу, до него не дожил. (Позволили бы ему сказать громко, как некогда: «Не могу молчать».) Не дожил Чехов. Интересно бы знать, есть этот номерок в государственных библиотеках России сейчас или благоразумно исчез?

В новом, «волшебном» мире мы все-таки жили, копошились, даже писали кое-что, даже Союз писателей в Москве был у нас — без коммунистов! Карабкаюсь, кое-как цепляясь, стараюсь пребывать независимыми, продолжали путь. На пути этом Каменев попадался не раз, в облике заступника и покровителя.

Вот я иду к Каменеву посланцем от Союза. Подымаюсь по лестнице бывшего генерал-губернаторского дворца. В светлых комнатах бегают резвые, не без развязности секретарши. За зеркальными стеклами окон, как призраки, безмолвно проплывают извозчики в санках, детишки с салазками, бредут граждане молчаливо, со своими заботами и горем.

После некоего ожидания пускают и к Каменеву в кабинет. Вот он, кудлатый студент моей юности, за отличным столом, спиной к зеркальной Москве, где медленно, беззвучно, горестно идет повседневность.

Принял он меня не без любезности, с оттенком покровительственности. Удивило меня, что он поджимал под себя ноги в носках — ботинки стояли рядом: буд-то жали они ему, он отдыхал.

В Харькове задержали Ильина, Арсеньева и французского профессора Мазона. Союз хлопотал об освобождении их.

Каменев водит пальцами по каким-то спискам.

— За что взяли?

— Ни за что.

— Посмотрим, посмотрим...

Телефонный звонок. Грузно, несколько устало Каменев в своих носках берет трубку.

— Феликс? Буду, буду. Насчет чего? Нет, приговор не приводить в исполнение. Буду непременно.

Дзержинский. Из телефонной трубки — не райское.

Каменев положил трубку.

— Если не виноваты, конечно, выпустим.

\* \* \*

Мне повезло. Их действительно выпустили. Меня стали считать как бы «спецом по Каменеву». Возникло мнение, что мне он не откажет, и по малым житейским случаям Союза к нему направляли меня.

А случай, например, такой: надвигается голод. Гершензон разузнал, что у Московского Совета есть двести пудов муки, как бы с неба свалившихся. Хорошо бы до них добраться.

И добрались. На этот раз ходили «в Орду» вдвоем: я и Гершензон. К тому же Каменеву, туда же. Гершензон, маленький, извилистый, нервный, чем-то напоминавший черного жучка, волновался, вместо «здравствуйте» говорил «дадуге», и при всей своей высокой одаренности, духовном аристократизме обладал загадочным тяготением к новой власти. Казалось бы, все обратное: он индивидуалист, смиренный книжник, самый мирный человек — но вот сила и беззащитность, ломка и грубость действовали на него магически — быть может, на женственную сторону его души. Он бормотал что-то совсем неподходящее. Меня стеснял немножко тон этого черно-заросшего волосами худенького человечка с Каменевым — слишком он робел, чуть не расстился. Давал повод держаться с ним снисходительно-покровительственно, все же вполне прилично. «Хлеб наш насущный» мы получили. Вскоре по зимним улицам Москвы везли из склада на салазках кульки этой муки и Бердяев, и Айхенвальд, и Гершензон, и Осоргин, и я, и другие.

Действительно, мне на Каменева везло. Позже, от Книгоиздательства писателей, мне пришлось перед Московским Советом защищать нашу квартиру издательства — против Коминтерна! — который хотел ее у нас отобрать. К великому моему изумлению, при явном благоволении Каменева, помещение нам оставили. Помогло то, что у самого Московского Совета была тогда какая-то распря с Коминтерном. Но мы, писатели, на этом выиграли.

Так что, как и Луначарский, Каменев всегда оказывался на стороне интеллигенции. Летом 21-го года он же возглавлял неудачный интеллигентский Комитет помощи голодающим (Кускова, Прокопович и др.).

Обо всем этом подробнее в «Москве» моей. Позволю себе только напомнить бегло насчет Каменева. Сила и власть — все же сила и власть, налагают оттенок. Помню, после одного заседания Комитета этого мы вышли с Осоргиным вместе на Собачью площадку. В Одессе был арестован в это время писатель Соболев. Я просил Каменева выпустить его.

Он небрежно спросил:

— Какой Соболев? Который написал роман «Пыль»?

— Да.

— Плохой писатель. Пусть посидит.

В 22-м году Каменев помог мне выехать за границу после сыпного тифа, перенесенного в Москве, — в Берлин «для лечения». Так что Гржебину по одной линии, Каменеву по другой я обязан — почти наверное можно сказать — сохранением жизни.

Жизнь же самого Каменева протекала в Москве и дотекла до страшного конца. В свое время он закрыл «Вестник ЧЕКА», теперь эта же Чека добралась и до него. «Приговор не приводить в исполнение», — слышал я некогда в генерал-губернаторском доме. Так говорил Каменев. Но при сталинско-ежовском терроре кто-то сказал о самом Каменеве:

— Приговор привести в исполнение.

«Судьба загадочна, слава недостоверна». Каменев сошел в подвал Чека, как и Бухарин, Рыков и другие. Сошествие во ад — и уж не вышел.